

**ЗИНАИДА  
ГИППИУС**

ЧЕРТОВА  
КУКЛА

Чертова кукла

Зинаида Гиппиус

**Чертова кукла**

«Public Domain»

1911

## **Гиппиус З. Н.**

Чертова кукла / З. Н. Гиппиус — «Public Domain»,  
1911 — (Чертова кукла)

«Они чуть не столкнулись – оба шли так быстро. Подняли друг на друга глаза. Девушка, одетая скромно, даже бедно, первая заговорила:– Здравствуйте. Вы ли?– Наташа! Я бы и не узнал. Ну, да ведь так давно не видались.– Давно... правда... Вы – точно вчера это было. Точно вам семнадцать лет.– Тем лучше. А мне ведь уже за двадцать. Вы здесь живете, в Париже?..»

## Содержание

Глава первая	5
Глава вторая	8
Глава третья	10
Глава четвертая	11
Глава пятая	13
Глава шестая	16
Глава седьмая	23
Глава восьмая	25
Глава девятая	27
Глава десятая	32
Конец ознакомительного фрагмента.	36

# Зинаида Гиппиус

## Чертова кукла

### *Жизнеописание в 33-х главах*

#### Глава первая

#### Юрүля

Они чуть не столкнулись – оба шли так быстро. Подняли друг на друга глаза. Девушка, одетая скромно, даже бедно, первая заговорила:

– Здравствуйте. Вы ли?

– Наташа! Я бы и не узнал. Ну, да ведь так давно не видались.

– Давно... правда... Вы – точно вчера это было. Точно вам семнадцать лет.

– Тем лучше. А мне ведь уже за двадцать. Вы здесь живете, в Париже?

Наташа после первого движения как будто раскаялась, что окликнула его. Сказала неопределенно:

– Да... Вот и встретились. Может, еще встретимся, Двоекуров. А теперь я...

– Хотите проститься? Как хотите. Я не стал бы искать вас, Наташа, говорю по правде. Но уж встретились, так поболтаем. Я забыл и вас, и Михаила, и других, и себя немножко, какой я был тогда с вами. Просто забыл, не думал, о своем сегодняшнем думал. А вот случайность – встретил вас и с удовольствием вспоминаю. Зачем же отталкивать приятную случайность?

Он говорил и улыбался. Изумительная улыбка: сияющая и умная.

Наташа тоже улыбнулась невольно.

– Я уезжаю опять в Россию, – продолжал он. – Теперь уж надолго, верно. Пожалуй, больше и не увидимся.

– В Россию? – задумчиво сказала Наташа.

Они медленно шли вместе по широкому тротуару. Малонарядная и молодая толпа большого бульвара, близкого к Сорбонне, такая живая в этот час, толкала их. Зимние, бледные парижские сумерки свисали с неба.

– Так что же, Наташа? Простимся?

Она еще помолчала.

– Нет, все равно. Пойдемте, посидим. Вот хоть в Люксембурге.

И двинулась вперед, через улицу, к решетке сада.

Холодный, зелено-алый ранний закат над серыми тенями деревьев. Холодный стук голых веток, – стук костяшек. Точно поздняя ночь мая под Петербургом.

– Расскажите о себе, – сказала Наташа, вздрагивая от холода.

Они сели на скамейку недалеко от бассейна.

– Да я все тот же. Здесь занимался химией...

– Химией? – удивилась она.

– Да, да... А вы, верно, вспомнили, что я прежде в Германии изучал философию? Химия удобнее, как я рассудил. Что до философии – довольно мне и своей. Ну, да это скучный разговор. Химия, так химия – не все ли вам равно? Уж я знаю, что для меня лучше.

– И едете в Россию?

– Да. Надо с петербургским университетом развязаться. И хочется пожить в Петербурге. Вы здесь одна, Наташа? А Михаил? А... Кто там еще? Где они?

Наташа помолчала.

– Не знаю... – промолвила она неопределенно.

– Не хотите говорить? Ну, не надо. Я ведь не любопытен. Для меня и они, и вы, Наташа, – прошлое. Милое, приятное, живое прошлое, оттого я и хотел вспомнить его. Но смотрю на вас и думаю, не уйти ли. Лицо у вас грустное, неприятное.

– Подождите. Это я по привычке бояться всех так говорю с вами, Юруля. А вас нечего бояться, вы – счастливый.

– Я счастливый, – сказал он просто.

– И вы не лжете.

– Нет, непременно лгу, когда нужно. Непременно. Но только, когда нужно.

Наташа встала.

– Милый Юруля, сейчас никакой радости вам разговор со мной не даст. Лучше простимся. Только вот что: вы едете в Петербург? Отыщите там брата. Я завтра утром вам для него маленький пакет пришлю. Хорошо? Где вы живете?

Юруля тоже встал. Он был тонкий, крепкий, высокий, как молодая елка.

– Я живу недалеко, Наташа, но пакета вы мне, пожалуй, и не присылайте. Не буду искать Михаила. Он мне не нужен. Не огорчайтесь, милая, мне будет больно. Я говорю точно, как думаю, как чувствую. Если я нужен Михаилу – он меня разыщет, и я бегать от него не стану. Поймите, что мне сейчас за радость искать Михаила, что мне передавать, везти этот пакет? Это дело чужое, а чужие дела я забываю, плохо исполняю. Не сердитесь, милая.

Наташа засмеялась. Опять села. Вдруг вспомнила его, – такого, каким знала когда-то, не вполне похожего на других людей, ее окружавших. Вспомнила, что ей всегда весело было, любопытно смотреть на него, слушать, что он говорит. Любили его все, неизвестно за что; но Наташа не столько любила, сколько приглядывалась. Потом забылось. Уж очень много с тех пор пережито.

– Вы смеетесь? Не сердитесь?

– Нет, нет. Ну, какая я глупая. Я с вами встретила, точно не с вами. Не надо никакого пакета. Я к весне тоже приеду в Петербург. Захочется мне или Михаилу – найдем вас.

– Вот это отлично! Вот теперь легко с вами стало... Нет, впрочем, не так, как прежде. У вас лицо измученное. Ах, Наташа! Зачем? Я ведь знаю. И вас, и Михаила.

– Что знаете?

Юрий молчал. Ему не хотелось говорить. Стало скучно. Рассказывать он любил, рассуждать избегал. Через две минуты после встречи с Наташей он, припомнив ее и ее брата, уже представил себе с ясностью, какие они должны быть теперь, если учесть все с тех пор. Стоит ли говорить?

– Михаил прежний, – сказала Наташа.

– Ну, да, да. Может, и не прежний, а живет по-прежнему, из долга. Пленник.

– Что же делать? Как жить? – тихо сказала Наташа.

– Ах, не знаю... Я другим не советчик. Просто живите, вер никаких не ищите. Вы – скептик, Наташа, но темный скептик, а не светлый. Вы никогда ни во что не верили, но злились за это на себя. Бедная вы, бедная!

Он с нежной жалостью глядел на нее.

– Прощайте, милая. Ну, ничего, вы все-таки по-своему гармоничная, ничего.

Он уже спешил уйти. Уже не хотелось и вспоминать какая она невеселая... И нарастала досада, было неприятно.

– Вот вы меня жалеете, – сказала Наташа, – а я вам часто завидовала. Михаил – тот нет. А Кнорр бранил и завидовал.

– Что же? – сказал Двоекуров. – Я счастливый, потому что так хочу, так сам выбрал. Будь у них немножко больше соображения и заботы...

– О себе? – подсказала Наташа.

– О ком же?

Наташа смотрела на него задумчиво. Не уходила. Кажется, не думала о том, что он говорил. У нее яркие глаза, яркие и светлые, точно пустые.

– Хесю помните, Юруля? – сказала она вдруг.

Он сдвинул брови. Сияющая красота его вдруг потемнела.

– Какая у вас жадность вспоминать неприятное? Я с досадой вспоминаю Хесю! Я совсем не хотел ее любви. Нисколько она мне не нравилась. А впрочем, до вас это не касается. Нет, Наташа, я каюсь, что начал разговор с вами. Вы не умеете вспоминать, не умеете радоваться, не умеете жить. Мне с вами скучно и досадно.

Он повернулся было, чтоб уйти, но остановился и ласково положил ей руку на плечо.

– Не будем ссориться, я не хочу. Вы все для меня – милое, хорошее прошлое, кусок жизни. Как я рад, что тогда столкнулся с вами! Помните, какое было время? И какие все тогда были живые, молодые, веселые...

– Верующие... – тихо сказала Наташа.

– Пустое! Моя вера и тогда была та же, что и теперь, а я был с вами. И разве я что-нибудь скрывал от вас? Говорил громкие слова, поддерживал ваши идеи? Разве обманывал вас даже тогда, когда мы вместе в Москве сидели, когда ни за один день отвечать нельзя было, когда я ваши поручения исполнял, а вы, случалось, мои? Разве я старался уверить вас, что я ваш, что по гроб жизни буду заниматься революцией, что думаю, как вы...

– Тогда было не до рассуждений...

– Да, а я все-таки уловил минуту и сказал вам и Михайлу правду. Сказал, что я не ваш, а свой. Делаю ваше дело потому, что мне оно сейчас приятно, увлекательно, нравится, – и должно оно нравиться молодости. Без этого, если б я тогда со стороны глядел, а не жил, – молодость была бы не полна, ну, и жизнь, значит, не полна. Вы это помните все.

– Помню, помню, – сказала Наташа грустно. – Что ж, вы правы. Но и Хеся не виновата, если ничему этому не поверила, полюбила вас по-своему.

Двоекуров нетерпеливо пожал плечами. Хотел было сказать, что да, не виновата и что все это не важно. Не сказал именно от ощущения неважности и скучной досады.

– Сейчас запрут решетку, пора, простите, – спохватилась Наташа. – Я уйду... И... все равно, – прибавила она решительно, – я рада, что встретила вас; будьте, каким вы есть, если нельзя иначе. Будьте счастливы.

– Буду, буду!

Он, улыбаясь, крепко пожал ей руку и долго смотрел вслед.

Она пошла от него, серая в серых сумерках. И вся стройная, благородная, несмотря на скромную одежду, точно переодетая принцесса.

Юрий вышел на бульвар, где теперь горели огни и толпа переливалась синим и желтым.

«Наташа скорее бы понравилась мне, чем Хеся, – думал Двоекуров. – В ней своя гармония... или дисгармония какая-то. Это привлекательно. Да вот в голову отчего-то не пришло»...

– Oh, le joli gaçon!<sup>1</sup> – крикнула ему, не останавливаясь, веселая «кофейная девочка» и блеснула глазами.

Юруля привычно улыбнулся ей, но прошел мимо, вперед, все еще думая о Наташе, переставая думать о ней понемногу.

---

<sup>1</sup> О, что за хорошенький мальчик! (фр.).

## Глава вторая По-студенчески

У старого сенатора, Николая Юрьевича Двоекурова, опустившееся, бритое лицо, бесильно злые глаза и подагра. Подагра серьезная, он все время почти не вставал с кресел, давно уже не выезжал.

Его забыли. Он это понимал. От злобы и от скуки он все что-то писал у себя, не то мемуары, не то какие-то записки, и не хотел даже завести секретаря.

Он был скуп и беден, зол и одинок. К нему, на его половину, случалось, никто не заходил целый день, кроме дочери Литты.

Эта «половина», отведенная ему графиней-тещей, была особенно мрачна; и некрасива, несмотря на молчаливую торжественность высоких потолков и темной, старой, тяжелой мебели.

Шестнадцатилетняя Литта жила при графине-бабушке. Старуха завладела девочкой сразу, как только умерла ее дочь. Не прощала внучке, что она – Двоекурова, но ведь все-таки это дочь ее несчастной дочери. Пусть, по крайней мере, девочка получит надлежащее воспитание.

К зятю, Николаю Юрьевичу, закаменевшая старуха питала спокойное и даже мало объяснимое отвращение. Не видались они по месяцам.

Но удивительно: Юрия, сына Николая Юрьевича от первого брака, старая графиня с годами все больше и больше миловала. Оттого ли, что мать его, как она знала, тоже была, хоть и бедная, но «хорошо рожденная» (удается же этаким «Двоекуровым»!), оттого ли, что сам он ей весь нравился, – она благосклонно говорила с ним и даже верила ему.

– *Décidément, ma petite, c'est un garçon très bien élevé*<sup>2</sup>, – говорила она после каждой аудиенции и трясла головой. Нравился Юрий.

Литта краснела от удовольствия. Еще бы не нравился! Кому это он может не нравиться!

Случилось, что ни отцу, ни тем менее графине, не пришло в голову ни разу ограничить в чем-нибудь свободу Юрия. Он взял ее сам, просто, как неотъемлемую собственность. Мало того, с семнадцати лет никому даже и не рассказывал, что делает, куда уходит, куда уезжает. Денег никогда не просил, что графиня ценила, а отец принимал, как должное, не заботясь, хватает ли ему положенных ста рублей.

Впрочем, на первую поездку за границу, в Германию, и на вторую, в Париж, отец дал какие-то лишние гроши, и графиня прибавила без просьбы.

В конце зимы Юрий вернулся из Парижа и тотчас же объявил дома, что взял себе для занятий комнату на Васильевском острове. Он не переезжает, – только не всегда будет дома ночевать, вот и все.

Отец ничего не сказал, графиня приняла просто, Литта огорчилась, но втайне. И так оно и пошло.

– У тебя отличная комната, настоящая студенческая, – говорил Левкович грустно. – Только вот никогда тебя не застанешь. И дома у тебя бывал, – нету. Сюда третий раз прихожу, разузнал адрес.

– А тебе нужно что-нибудь?

– Да нет, я так. Ведь подумай, с тех пор, как ты вернулся, всего второй раз тебя вижу.

Комната, может быть, и отличная, но тесноватая. В углу длинный стол занят какими-то банками и склянками. Юрий, в тужурке, лежит на клеенчатом диване и курит тонкую папироску. Левкович снял шашку, но все-таки неловко теснится на стуле, поджимая ноги.

---

<sup>2</sup> Определенно, малышка, он очень воспитанный мальчик (*фр.*).

– Химия? – спрашивает он, косясь на склянки.

– Да... Ну, здесь это так. Здесь разве серьезно можно заниматься.

Левкович – троюродный брат Юрия. Ему под тридцать. Он ни дурен, ни красив. Если Юруля смахивает на узкую flûte<sup>3</sup> для шампанского, то Левкович, рядом с ним, похож не на стакан, а на большую, обыкновенную рюмку из толстого стекла, с коротковатой ножкой.

В лице что-то ребячески простое, незамысловатое. Не глупое, а именно простое. Такие люди умеют честно и сильно влюбляться.

Левкович – офицер. Но будь он лавочником, почтальоном, чиновником – это изменило бы его язык, его привычки и отнюдь не его самого.

Они всегда встречались редко, но Левкович обожал Юрулю. Верил ему, советовался с ним. У Юрули – заботливая и снисходительная нежность. Говорил он с Левковичем мало, но всегда терпеливо слушал и точно оберегал.

– Я все занят, Саша, – сказал он кротко. – Ты бы написал мне строчку домой, условились бы.

– А к нам ты уж не придешь? – грустно проговорил Левкович. И, не дожидаясь ответа, вдруг зашепел: – Ты отчего переменялся ко мне? Ну, не переменялся, а что-то есть. Я решил спросить тебя... Так нельзя.

– Что же спросить?

– Да вот... Я не знаю. Когда, после твоего приезда, мы увиделись и я сказал тебе, что женился, ты обрадовался. А узнал, что на Муре, и вдруг говоришь: «Напрасно!» С тех пор и не зашел ко мне. А я так счастлив, так счастлив. Что это значило, твое восклицание?

– Если ты счастлив, Саша, больше ничего и не нужно.

---

<sup>3</sup> Здесь: фужер (фр.).

## Глава третья

### Шикарные цветы

На Преображенской улице Юрий соскочил с седла у подъезда одного из новых домов. В швейцарской, как всегда, пусто. Юрий прислонил к лестнице велосипед, поднялся в третий этаж и бесшумно отворил большую черную дверь своим ключом.

В передней прислушался. Тихо. Он, впрочем, так и знал, что никого нет дома.

Передняя была большая, с претензией на роскошь. Женское кружевное пальто висло лентами чуть не до полу. Сдавленный воздух едва-едва пах хорошими духами и хорошей сигарой.

Не снимая фуражки, Юруля отодвинул темную портьеру, ловко закрывавшую маленькую дверь направо, вошел, и дверь за ним закрылась.

В пустой квартире все так же было тихо. На столе в гостиной, убранной с тем безнадержным безвкусием, которое дает поспешность роскоши, стоял свежий букет роз с длинными стеблями. Такой же дорогой, вероятно, как его тяжелая, некрасивая ваза.

Через десять минут Юруля, переодевшись, неслышно вошел в гостиную, вынул букет, отставил вазу. С большой ловкостью завернул он цветы в белый лист бумаги, заколол булавками, – совсем как в магазине!

И потихоньку вышел, – но не прежней дорогой, а через коридор и кухню, убедившись предварительно, что и она пустая.

От черной лестницы у него тоже был ключ.

## Глава четвертая

### На кошачьей лестнице

– Да ну его, провались он! Очень мне нужно! – говорила Машка, фордыбачась.

На минутку остановилась на углу Казачьего по дороге из булочной с Аннушкой из десятого, что напротив.

Аннушка посolidнее, а то, может, просто вялая. Машка – вся огонь. Серый платок у нее на одном плече держится, даром что весенний ветер, пыльный, вонючий и холодно едкий, лезет в рукав и за ворот, тербит передник.

Белесые Машкины волосы подняты «по-модному», широкий рот молодо хохочет, сдвигаются глаза, блестя.

– При-дет. Да хоть бы и что, вот не видали, – жметя она, притоптывая каблуком по тротуару.

Аннушка не очень верит.

– Ишь ты! Небось заскучаешь! Ведь хорошенький.

– Никогда он мне и не нравился, – нагло врет Машка. – Он ничего, да вот не нравится. Уж ходит-ходит, и всякий раз с букетом. Да я евонные цветы к барыне ставлю. Что мне? Браслета мне хотелось, так небось не подарил браслета. А что цветы-то из магазина таскает...

– На Моховой, что ли, магазин?

– А я почему знаю! Спрашивает наша кухарка раз: что это, говорит, Илья Корнеич, какие у вас все цветы шикарные? А он ей: у нас, говорит, магазин шикарный, оттого и цветы шикарные. А цветы, говорит, приятнее всего дарить, ежели кого любишь. Наша-то кухарка с ума по нем сходит. Самовоспитанный, говорит, такой, и не сказать, что приказчик.

– Да чего, конечно, хорошенький. А вот я, девушка, видела третьеводни на Невском, – барыня с письмом посылала, ввечеру, – вижу, катит студент, ну, как есть твой Илья. И этакое ландо, и в ланде содержанка. Очень похож, помоложе разве.

– Ну, уж студенты-то известно безобразники, – равнодушно сказала Машка. – Прощай покуда, заходи...

И вдруг обе визгнули тихонько и засмеялись.

Под незажженным угловым фонарем мелькнуло веселое лицо. Кто-то снял новенький картуз и встряхивал недлинными, пышными волосами.

– Откуда это вы взялись? – бойко начала Маша.

– Да уж откуда ни взялся, а, признаться, к вам пробирался. Дома ли Степанида Егоровна?

– А придете, так узнаете... Буду я еще с вами по углам на свиданьях стоять... Есть мне...

И Машка, вся покрасневшая, вильнула прочь. Через два дома кинулась в ворота и совсем пропала.

Простившись за руку с Аннушкой, которая вздохнула, Машкин обожатель пошел в те же ворота.

И через минуту был уже в просторной, светлой и грязной Машкиной кухне.

Он сидел за белым столом у перегородки, чинно, вежливо и весело поглядывая на Степаниду Егоровну, пожилую кухарку из важных. Она поила его чаем с вареньем и поддерживала деликатный разговор. Деликатность и хороший тон были коренной слабостью Степаниды Егоровны. Она считала себя знатоком хороших манер, любила вежливость и уважение до такой степени, что даже извозчикам говорила «вы».

Скромность, изысканную почтительность Ильи Корнеича она тотчас же оценила и взяла его под свое покровительство.

Рассуждали тихо, мерно, разумно. Послушать Степаниду Егоровну – так никогда не поверишь, что у нее строптивый и злобный характер, что Машке от нее нет ни житья, ни покою.

– Ну, чего ты вертишься туда да сюда? – огрызнулась на нее кухарка. – Села бы посидела. Вон опять Илья Корнеич чудные розы какие принес. Понимаешь ты много, деревня!

– Чего вы? Я чай господский убираю. А что они букеты носят, так мы не просим, – добрая воля!

И Машка опять убежала.

Но сердце не камень. И, понемногу приближаясь, кокетничая и дичась, как молодая звериха, она уже очутилась у черной двери, около табурета Ильи Корнеича. Хохотала чему-то, угловато вертелась, и каждая жилка ее большеротого лица играла.

– Я вот предлагаю удовольствие сделать, – говорил Илья Корнеич. – Марью Петровну сопровождать, если им угодно, в театр. Или же на бал, на Пороховые. У меня знакомые есть. А Марья Петровна упираются.

– Понимает она много театр! – презрительно сказала Степанида Егоровна.

– Оне, Степанида Егоровна, утверждают, что вы им разрешения не даете отлучиться. Позвольте мне нижайше быть посредником и самолично просить у вас этого требуемого разрешения.

Приказчик говорил что-то уж слишком витиевато, но Степанида Егоровна вся таяла, а когда, получив разрешение, Илья Корнеич встал и сделал вид, что хочет у Степаниды Егоровны ручку поцеловать, она даже застыдилась, спрятала руки и была в упоении. Во-первых, от сознания своей власти, а во-вторых, от знакомства с таким воспитанным человеком.

Машка выскочила провожать его на лестницу.

Пахнет, как всегда, тяжелыми, холодными кошками. Бледный мрак бледной ночи, точно паутина, тянется из окон.

– Машенька, душенька, и что вы все какие сердитые, – улыбаясь, говорил Илья. – И что вы все какие неласковые...

Внизу, в сенях, где было темно-серо, он обнял девушку без дальнейших слов. Прижав ее к стене, целовал свежее, некрасивое лицо, большой рот.

Машка дернулась было, хотела что-то сказать свое, вроде «без глупостей нельзя ли», «да ну-те вас» – и ничего не сказала. Только задышала скоро-скоро под его летучими поцелуями.

– Ты моя душенька, Машенька, – шептал он, и в шепоте была слышна улыбка. – Поедешь со мной? Ужо приду, смотри, не отказывайся. А пока цветочки мои нюхай, меня вспоминай, глупенькая!

Наконец Машка вырвалась и убежала наверх. Он не держал ее больше.

Отворил дверь с блоком, вышел на серый, туманный двор, потом на такую же серую, посветлее, улицу.

## Глава пятая

### Пленник

Однако идти назад, на Преображенскую, в Лизочкину квартиру, нельзя: или слишком поздно, или слишком рано. Хотел было взглянуть на часы, да вспомнил, что с ним нет часов. Он обыкновенно оставляет их, потому что они золотые, очень дорогие.

Куда же деваться? Одет он совсем не маскаратно, но все-таки скверное, новое и длинное пальто не по нем, и синий картуз странен на волнистых кудрях. Нельзя поехать туда, где его знают.

Ему было ужасно весело. Нравилась ему и Степанида Егоровна с бонтоном, и Лизочкины цветы, которые он упорно приносил Машке, словно барышне, и очень нравилось некрасивое, свежее Машкино лицо, которое он целовал на кошачьей лестнице.

Забаве своей, случайно выдуманной, он радовался: радовал его бледный паучий свет печальной улицы, и свернувшийся калачом на козлах горький ванька, и уставший, добрый городской на безлюдном перекрестке; и радовал себя он сам, – веселый студент, простой, средний человек, так просто и свободно живущий.

Куда бы пойти, однако? Везде хорошо.

Он вспомнил про небольшой, средней руки, трактиришко в переулке с Гороховой. Бывал там, нравилось. Не совсем извозчикий, а так, мелкий люд, всякие попадают.

В трактире было пустовато. Двое каких-то ели в углу селедку, странно запивая из чайника. Толстый торговец с обеспокоенным лицом, за бутылкой пива, все что-то шептал про себя и заботливо писал на бумажке.

Веселый Машкин обожатель спросил себе чаю, положил картуз на столик, встряхнул по привычке волосами и стал оглядывать комнату.

Но почувствовал, что на него кто-то смотрит, обернулся, и карие с золотом глаза его сразу встретились с другими, синими, тяжелыми.

Кто это? Не вспомнишь сразу. Кто это, в самом деле?

Одет так скромно, что и не поймешь, интеллигент ли бедный или рабочий. Узкое молодое лицо с черной бородкой, бледное. И вот эти синие глаза...

Ага, вспомнил! Стало еще веселее. Хотел встать и подойти, но не встал. Во-первых, старая, бессознательная привычка осторожности, связанная вот с этим синеглазым; во-вторых, соображение: ведь он, синеглазый, ему не нужен. Захочет, узнает, – а узнать вовсе не трудно, – сам подойдет.

Человек с черной бородкой встал и, не торопясь, подошел к столику приказчика.

– Нельзя ли к вам мне подсесть?

Тот встретил его смеющимися глазами и сказал, тоже не повышая голоса:

– Садись, садись. Чай будешь пить или пиво? От Наташи поклон, если она еще не приехала.

– Нет еще. Спасибо, я чай буду. Что это ты так?

– А что?

– Да здесь... И... Ты ведь студент? От Наташи знаю, вы встретились.

– Вот и с тобой встретились. Если от Наташи знаешь обо мне, так уж, верно, все знаешь. А это... – он показал глазами на свой приказчикий картуз, – это случайно... Шалости... Никакого отношения ни к чему не имеет. Михаил, скажи лучше о себе.

– Я давно тебя хотел повидать, – проговорил Михаил, не отвечая на вопрос. – Да не выходило как-то... К тебе не решался. Рад, что встретил.

– Значит, я тебе нужен? От Наташи ты должен знать, что я не намеревался искать ни тебя, ни других, что все вы для меня – только милый, хороший кусочек моего прошлого, – только!

– Ты не связан, – холодно сказал Михаил.

– Я и не могу быть связан, я говорю это для тебя, чтобы тебе все было ясно. Но от своего прошлого я не отказываюсь; я сказал и Наташе, что не буду бегать от тебя, если ты меня найдешь.

– Юрий, вот в чем дело... Впрочем, нет. Я лучше приду на Остров, если выяснится необходимость. Ты ведь на Острове теперь живешь? А я вполне могу прийти. Дело не во мне.

– Все равно. Будь добренький, приходи на Фонтанку. Поверь, там лучше. И скажи теперь же, когда придешь.

– К графине? Ты и там живешь? Хорошо. Через десять дней приду. Шестого мая. Да! Кнорр у тебя бывает?

– Кнорра я видел. Так, мельком. Он хотел зайти. Я не знал, что вы с ним продолжаете...

– Не близко. Ну, так прощай теперь. Яша хотел зайти сюда; поздно, должно быть, не придет.

– Ах, еще Яша! Ну, этот... Я рад, что не видел его.

Михаил угрюмо промолчал.

– И ты, помню, с Яшей не дружил.

– Он мне лично не был симпатичен, – сказал Михаил. – Цинизм в нем есть, понятный впрочем, но я не люблю цинизма. Повторяю, это просто мое личное чувство, и я себе никогда не позволял ему поддаваться.

– Господи, Михаил! Что ты только говоришь. Не поддаваться... личным чувствам... Ну, да оставим.

– Ты тоже циник...

– Однако я тебе не был антипатичен никогда. Вспомни.

– Это опять необъяснимый каприз личности.

– Нет, Михаил, это просто, пойми: разве мы похожи с Яшей? Вот мне приходит в голову как раз интересная вещь, ты скажешь – парадокс, но послушай: я откровенно забочусь прежде всего о себе, но мне важно делать это с наименьшим вредом для других; а Якову, который, по моему, глупее всех глупых людей, важнее всего повредить; он воображает, что это самый верный путь хорошо позаботиться о себе. Может быть, я ошибаюсь, но такое у меня впечатление.

Михаил насупился.

– Оставим и психологию, и Якова. В сущности, ты так же мало его знаешь, как и я. Я знаю, что в деле Яков незаменим, этого с меня довольно.

Он встал. Юруля не улыбался, лицо потемнело, в глазах была досада.

– Подожди, Михаил. Еще одно слово о тебе. Сядь, прошу тебя. Не стоило бы, но уж так нашло на меня, хочется сказать.

– Ну, что? – нетерпеливо и болезненно сказал Михаил, садясь.

– Ты мне глубоко неприятен, – ты несчастен. Зачем это? Пленник мой бедный, заставляешь себя думать о «свободе других», а сам-то? Я понимаю, тяжело признаться, что не веришь в то, чему верил (хотя это тяжесть предрассудка) – однако есть же разум, есть же свобода, есть же очевидность! Не веришь ты больше никому и ничему! И остаешься, стиснув зубы, все с теми же людьми, – из-за чего, ради чего? Ради «долга»? Что это за тупость? Весь в веревках, – да еще в каких-то воображаемых!

– Оставь, оставь, – строго сказал Михаил.

– И оставляю. Ведь я тебя не убеждаю, не к себе зову, мне никого не нужно; я только советую: попробуй опомниться. А это что же такое? Это безобразно. О, идеалисты! Досада, отвращение... – И вдруг перебил себя: – Извини, Михаил. Мне ведь все равно. Увидел тебя –

и сказал. Будь себе, каким хочешь. У меня сердце нежное... нет, глаза у меня нежные. Когда смотрю – жалко.

Они были теперь одни в трактире. Михаил заторопился.

– Прощай, – буркнул он. – Так я приду шестого. А не то через Кнорра дам знать, когда.

Слов Юрия он как будто и не слышал. Сидел задервенелый.

Юрий сам, выйдя минуты через две из трактира, уже смеялся и удивлялся.

«С чего это я ему? Да ну его совсем! Какое мне дело?»

Пошел пешком на Преображенскую и уже на Невском совершенно забыл неожиданную встречу.

## Глава шестая

### Разнообразие любовью

Белые до голубизны электрические пузыри меж черных сучьев, едва опущенных, то надувались светом, словно пухли, то ежились с шипом. Где-то уж слишком вверху честно желтеет бесполезная луна.

Злая ночь мая, петербургская, дышала ледком. Небо светло-серое, как оберточная бумага, с висящим ненужным месяцем, было глупо.

Внизу, напротив сцены, сидел за столиком безбородый мальчишка в цилиндре.

– Двоекуров! – крикнул он вдруг. – Послушайте! Двоекуров!

Тот, высокий и тонкий, в студенческом мундире без пальто, остановился равнодушно.

Оркестр молчал. Слышен был песочный скрип под подошвами вялой толпы. Щелкнула где-то пробка.

– Это вы, Стасик? – сказал Юруля. – Здравствуйте.

Мальчик в цилиндре поспешно поднялся.

– Послушайте, Двоекуров. Послушайте, сядьте со мной. Ведь вам все равно. Вот у меня шампанское... Мы с вами мало знакомы, но что ж такое. Ведь вы один?

Двоекуров сел.

– Пока один. Что это вы нервничаете? – прибавил он участливо.

– Скажите правду, раз навсегда: вы меня очень презираете?

Юруля поднял на него свои карие, с золотыми искрами глаза, сдвинул со лба фуражку и улыбнулся.

– Вы, должно быть, проигрались, Стасик?

Стасик залепетал:

– Ну да... Откуда вы знаете? Но это все равно. Я один, растерян. Чувствую, вся жизнь моя как-то гибнет. Все меня презирают, я знаю... И я сам себя презираю. Я низко пал...

– Да будет вам, – равнодушно проговорил Юруля. – Не думаю я вас презирать.

– Ах, Бог мой, точно я не понимаю... Но увидел вас... Вы такой странный. Не видишь – не помнишь, а видишь – почему-то любишь. Вы такой красивый. Не сердитесь.

– Я никогда не сержусь, Стасик. Но вы не кокетничайте со мной. Ваш номер у меня, вы знаете, не в ходу. А денег я вам не дам.

– Да разве я... – начал Стасик.

– Нет, не дам.

– Если б вы могли... Немного... До четверга.

– Могу, но не дам. Не вижу, какое мне удовольствие дать вам денег?

Стасик растерялся. Он совсем не затем позвал Двоекурова, чтобы просить денег. Совсем за другим. Позвал, но зачем – он не помнил, и как уверить, что не хотел просить денег, – не знал.

Беспомощно обиделся, вскипел.

– Вы, пожалуйста, не оскорбляйте меня, Двоекуров. Я никому не позволю... Я еще не потерял понятия о чести...

– Ох! – шутивно вздохнул Юруля. – То самоунижались без меры, а то вдруг польский гонор заговорил... Экий вы глупенький мальчик.

Музыка опять играла какую-то подпрыгивающую дрянь. Старые присяжные поверенные с женами и дамы без мужчин, в светлых пальто, с обыкновенными бабьи-продажными лицами, заходили повеселее.

Но было еще пустовато – было рано.

– Вон, кажется, Саша Левкович, – сказал Юрий, присматриваясь к офицерскому пальто вдали.

Стасик взмолился:

– Двоекуров, не уходите еще! Лучше Левковича позовем, когда он мимо пройдет. Я знаю Левковича, я знаком...

Юрулю стал забавлять Стасик. Очень уж волновался.

– Разве так проигрались, что плохо приходится?

– Да нет... Не то... – начал Стасик. – Конечно, проигрался. Но меня как-то вся моя жизнь мучит. И, право, не с кем слова сказать.

– Какого же вы слова хотите? – участливо спросил Юруля.

– Я не знаю... Вы меня осуждаете?

– Полноте, Стасик. Бросьте вы. Хотите, лучше я вас вон с тем толстяком познакомлю?

– Я?.. Зачем мне? А кто это?

– Писатель, поэт, довольно известный. Раевский. Он теперь не на виду, худенькие молодые затерли, а когда-то одним из новаторов считался.

– Ах да... Я слышал... Нет, нет, Двоекуров, подождите. Я вам хотел одну вещь сказать...

Знакомства Стасика были больше в чиновничьем, богатом кругу и среди офицерства. В круг литературный он как-то не попадал, не успел, хотя и считал себя «эстетом скорее». Юрий легко дружил со всеми. Всех знал, и все его любили.

– Вы отговариваетесь, – продолжал Стасик, – а ведь вы такой откровенный. Отчего вы не скажете мне, ведь вы очень меня осуждаете? Осуждаете?

– Да, – произнес Юрий.

Стасик горько поник.

– Ну, вот так я и знал.

– Не то что осуждаю, – продолжал Юрий, – и не за то, за что вы думаете, а просто жалею, что вы так неумно живете и скверно о себе заботитесь.

Стасик удивленно взмахнул на него черными, может быть, немного подведенными, ресницами.

– Если бы ваш способ добывания денег был вам приятен, доставлял вам удовольствие – вы были бы вполне правы. Если бы даже он вам был безразличен – ну, куда ни шло, ничего. Но так как вы вечно дергаетесь, мучаетесь, нервничаете, глядите совсем в другую сторону – то, ей-Богу, глупо так над собой насильничать. До того навинтились, что уж о самопрезрении заговорили. А себя крепко любить надо. Поняли?

Мелькая черными тенями и белесыми пятнами света, подошла маленькая, стройная женщина, очень хорошо одетая. Лицо у нее было совсем кукольное; только у дорогих кукол бывают такие нежные, черные глаза, такие ровные черные брови, такие светло-белокурые волосы, такой хорошенький ротик. Одни веселые ямочки на щеках были не кукольные, а живые.

– Лизок! Здравствуй! – сказал Юруля, улыбаясь. – Хочешь, садись к нам?

Она подобрала юбки и села, глядя на него и тоже улыбаясь.

– Ну вот, ты Стасика развесели, а то он нос на квинту повесил. Говорит, что никому не нравится.

– Стаська-то? – засмеялась она. – Как же? Это такая воображалка, думает, что лучше него и на свете нет!

Она весело и просто поглядывала на Стасика, говорила добродушно, как незлая маленькая женщина, которая не завидует другим, когда ей самой хорошо.

– Правда, он недурен, – продолжал Юрий с серьезным видом. – Вот ты, Лизочка, могла бы в него влюбиться?

Лизочка захохотала. Качалось нежное белое перо на ее шляпе.

– В Стасика? Ха-ха-ха!

Юрий по-прежнему серьезно, но со смеющимися глазами настаивал:

– Ну вот, Лизочка, почему нет? Он, я знаю, давно в тебя влюблен. По крайней мере, нравишься ты ему очень.

Лизок все еще смеялась. Потом передохнула.

– Да ну вас обоих с пустяками.

Стасик, красный, волновался.

– Видите, Двоекуров, вот и она... А это несправедливо. Это правда, Лили, – прибавил он вдруг, – вы мне очень, очень нравитесь.

Лизочка, не смейся, передернула плечом.

– Да брось, глупенький, точно я не знаю! Поумнее тебя.

Теперь тихонько смеялся Юрий.

– Конечно, ты умнее, милая. Вот и я без тебя то же Стасику доказывал. И хоть правда, что ты ему нравишься, однако тебя ему не видать, пока он не на «собственных лошадях» ездит.

– Да хоть бы и на собственных... – начала Лизочка, ничего не поняв.

Юрий уже с кем-то разговаривал издали. Толстый Раевский и Левкович подошли вместе. Через минуту Юруля позвал еще двух: пожилого приличного и молодого неприличного.

Первый, со смуглым выразительным лицом нерусского типа (говорили, что он не то из болгар, не то из армян), был известный критик-модернист, талантливый, углубленный и запутанный, Морсов: второй – поэт «последнего поколения», грубый, тяжелый, небрежно одетый, с толстой палкой в руках и скверными зубами во рту – Рыжиков.

Незнакомых Юрий презначкомил. Должно быть, каждый приплелся в этот холодный сад одиноко и праздно, потому что все с удовольствием уселись за столик Юрули. Даже два столика составили вместе.

Раевский и критик Морсов спросили шампанского, Юрий тоже, и все подливал Лизочке и Стасику; поэт с палкой презрительно пил пиво, а Левкович не пил ничего, сидел, молчаливый, на углу и смотрел на скатерть.

Морсов уже разливался соловьем, напрягая голос, потому что в это время на сцене куча толстых баб кругло разевала рты в такт музыке, которая дубасила во все тяжкие.

Морсов везде и всегда разливался соловьем. У него были круглые и красивые периоды, которые катились мягко, точно разубранные колеса. Они ласкали и баюкали слух, а в конце еще оказывалось, что и мысль у него не лишена оригинальности, даже парадоксальности, и всегда приятной.

Раевский и Рыжиков, хотя познакомились, не сказали друг другу ни слова. Перекидывались молчаливыми взглядами; поэт «конца века» судил поэта «начала века» и обратно; оба друг друга, видимо, презирали. Раевский, «лирик дореволюционного периода», презирал Рыжикова за то, что он пьет пиво, скверно одет, худ и молод; эстет «нового периода» так же искренно презирал Раевского за его элегантность, непомерную толщину и французские словечки. Впрочем, в презрение Раевского вмешивалась зависть: он чувствовал, что от чего-то отстал. И чрезмерность полноты его немного мучила, хотя обыкновенно он утешал себя сходством с Апухтиным.

– Я провожу удивительные вечера в кругу молодых моих друзей, – продолжал катить Морсов колеса и кивнул в сторону Рыжикова. – Как мне жаль, что поэты предыдущего поколения, поэты уже определившиеся, уже сделавшие много, вроде глубоководного Анатолия Борисовича, – тут он кивнул в сторону Раевского, – не помогают начинающей молодежи, не соединяются с ними, уходят в уединение, прочь от литературной семьи...

Раевский, точно еще никогда не сдавался на приглашение Морсова, избегал всяких новых «литературных» вечеров, хотя никак нельзя было сказать, что он живет в «уединении».

– Вы, дорогой Юрий Николаевич, знаете наши интимные вечера прошлого сезона, вы бывали, – не унимался Морсов. – Должен сказать, что теперь дела идут несколько иначе. То,

что было, – было прекрасно, однако время изменяет все. Приток новых сил и новые запросы духа...

Юрий улыбнулся, вспоминая.

– Да, запросы духа... – произнес он рассеянно и прибавил вдруг: – А вон Жюличка... Она одна? Лизок, позови ее к нам... Да нет, сама идет. Жужулинька! Не угодно ли присесть!

Подошедшая девица была брюнеткой, поплотнее Лизочки, хуже одета, вульгарнее, но тоже очень хорошенькая.

Она развязно улыбнулась всем, вдвинула стул между Рыжиковым и Морсовым, спросила раков и белого вина, отказавшись от шампанского.

Раевский не обратил на новопришедшую никакого внимания. Он давно уже и Морсова не слушал, и даже на Рыжикова не глядел: присоседившись к Стасику, он что-то говорил ему вполголоса, колыхаясь мягким телом. Тот отвечал, хотя строил мины, вскидывал ресницами. Порой, исподтишка, бросал трусливый взор на Юрулю, но Юруля не глядел в его сторону.

Все болтали между собою, кроме Морсова, который разглагольствовал для всех.

Пользуясь шумом, Юруля сказал Лизочке почти на ухо:

– Отчего ты здесь?

– Воронка телефонировал: в комиссии. Будет во втором часу. Чтоб его! Это значит – всю проваландается. Ты, коли надо, потихоньку.

– Ладно. Знаю. Вот молодец, что дома не высидела.

– Да, как же, буду я! Молчи, – прибавила она тише, – вон уж Юлька уставилась на нас. Ест глазищами... Ей-Богу, дуру ей сейчас скажу...

Но Юрий сурово толкнул ее под столом ногой, – он терпеть не мог бабьих выходок, – и Лизочка сейчас же весело заговорила о пустяках с Левковичем. Левкович ей, впрочем, почти не отвечал.

Воронка, или «дядя Воронка», про которого Лизочка сказала: «в комиссии», был очень богатый южный помещик Воронин, депутат. Юруле он приходился троюродным дядей со стороны матери. В доме графини изредка бывал, даже обедал; графиня к нему благоволила. Хотя Воронину перевалило за пятьдесят, он глядел еще молодцом и с Юрулей сразу вступил в приятельские отношения.

И так хорошо сошлось: у Лизочки покровитель был неважный, а дядя Воронка томился случайностями петербургской жизни давно. Юруля знал, что Лизочка ему понравится. Действительно, так понравилась, что дядя Воронка еще недавно, на лестнице графини, с лукавым взглядом поблагодарил Юрулю, а Лизочкина квартира на Преображенской стоит полторы тысячи, обстановка самая новая. Все остались довольны.

Морсов начинал иссякать, тем более что никто его не поддерживал, и приставал теперь главным образом к Юруле.

– Вы мне всегда казались художником, Юрий Николаевич. Я знаю, вы ничего не пишете, но разве нужно причастие к какому-нибудь известному искусству, чтобы быть художником? Отнюдь. С таким лицом, как ваше, с таким... я бы сказал, рисунком всей вашей личности, можно не написать ни одной строки, но не быть поэтом – нельзя. Вы занимаетесь философией...

– Нет, – сказал Юруля. – Я занимаюсь химией.

Морсов запнулся.

– Как, химией?

– Да, у Х... в Париже. Очень серьезно. И буду продолжать.

– Химией? Да... Ну, все равно. Разве химия – не та же поэзия? Важно отношение. Вы увлеклись химией...

– Да нисколько я не увлекся... Простите, ради Бога, одну минуточку... Здравствуй, милый, – сказал он, вставая и подавая руку подошедшему к нему высокому студенту, мешковатому, с болезненным, темным лицом.

– Мне надо тебя на несколько слов...

– Сейчас, Кнорр. Ты спешишь?

– Нет.

– Ну так присядь к нам. Я вместе с тобой выйду. Мне тоже скоро надо.

Кнорр знал почти всех, а у Морсова даже бывал, потому что раз написал целую поэму. Он сел, залпом выпил бокал шампанского. Слегка опьянел, лицо сделалось еще бледнее и еще трагичнее.

Лизочка глядела на него со страхом и отвращением. Грубоватая Жюлька захохотала и не высунула ему язык только потому, что Юруля был с ним ласков. Потом опять обернулась к Рыжикову, с которым они давно оживленно переговаривались короткими и выразительными словечками.

– Я с удивлением только что узнал, что Юрий Николаевич изменил философии ради химии, – завел опять Морсов, обращаясь уже к студенту Кнорру. – Я говорю, что самое разнообразие запросов духа в наше время...

Кнорр грубо прервал его:

– В Эльдорадо за раками о запросах духа еще начнем разговаривать...

Нежданно уязвленный Морсов не успел ответить, вмешался Юруля.

– Везде можно разговаривать, о чем угодно, Кнорр, не в том дело. Георгий Михайлович не дослушал меня. Я, действительно, химией занимаюсь, но вовсе не потому, что особенно увлечен ею.

– А почему же? – с любопытством спросил Морсов.

Юруля объяснил просто:

– Да видите ли, я давно рассчитал, что к зрелым годам у меня явится желание некоторой, хотя бы просто почтенной, известности, некоторого уважения... А об этом надо заранее позаботиться. Выдающихся способностей у меня нет, на гениальные выдумки я рассчитывать не могу. Химия, как я убедился, скорее всего другого позволит мне приспособиться, сделать какое-нибудь даже открытие небольшое... В меру моего будущего сорокалетнего честолюбия... За многим я не гонюсь, я человек средний...

Раевский вслушался и повернул к Юрию грузное тело.

– А-а! Baise Pascal! Да, да, вспоминаю: «Qu'une vie est heureuse grand elle commence par l'amour et qu'elle finit par l'ambition!»<sup>4</sup>

– Вот именно! – улыбнулся Юрий.

В Морсова это объяснение, несмотря на всю его простоту, как-то совершенно не вошло.

Рыжиков неожиданно закричал: – Какая поза! – Но, встретив удивленный взгляд Юрули, сник и прибавил: – Это, конечно, расчетливо...

Кнорр не слушал. Долго не сводил глаз с Юрия, облокотившись, положив голову на руку, и вдруг сказал:

– Черт тебя возьми, какой ты красивый, Рулька!

Юрий спокойно улыбнулся.

– Счастливый. Потом все такие будут.

– Красивые?

– Счастливые.

– Это когда мы рылами несчастными сдохнем?

Юрий развел руками.

---

<sup>4</sup> «Как прекрасна жизнь, если она начинается любовью и завершается честолюбием!» (фр.).

– Ну, конечно. Надо людям еще очень долго уметь...

– Поехал на свое.

– Это не мое, а общее. И что ты с красоты начинаешь? Ты начинай с ума и счастья...

Кнорр опять закричал капризно:

– Не хочу я в Эльдorado с девчонками о счастье разговаривать! Не хочу! Не место здесь никаким «вечным вопросам». Не желаю!

Лизочка, как всегда, ровно ничего не поняла, но горячо вступилась за Юрулю. Перебранка ее с Кнорром делалась забавна, когда Морсов, вдруг осененный новой мыслью, принялся уговаривать Юрия непременно прийти на одно собрание через десять дней.

– Новое общество «Последние вопросы»... Вы не были?.. Закрытое, но очень, очень многолюдное. Приходите, приходите. Я пришлю повестки. Будет собеседование по поводу «Приговора» Достоевского. Приходите, говорите. У нас все говорят...

– Я приду, – мрачно сказал Кнорр.

Морсов начал приставать к Раевскому, который не слушал.

– А? Что? Куда? – поднял он жирные веки на Морсова.

– Вот если и вы, молодой человек, интересуетесь, пожалуйста... – обратился тот к Стасику.

Стасик взволнованно согласился, польщенный. Раевский тоже стал благосклоннее. Юруля молчал, а Морсову именно его-то ужасно захотелось.

– Обещайте! Придете?

Был уже двенадцатый час. Сад не то что оживился, но весь как-то двигался, за столиками почернело; на сцене, с прорывающимся сквозь музыку шипом, тряслись серые тени, серые мертвецы кинематографа.

– Посмотрите, не символ ли это нашей сегодняшней, белопетербургской, ночной жизни? – спрашивал Жюльку сильно подвыпивший Рыжиков.

Но та равнодушно отвергивалась.

– Надоел уж синематозка-то... Повсюду теперь это... Нашли, чем угощать.

– Мне пора, господа, извините, – сказал Юрий, поднимаясь. – Георгий Михайлович, милый, если мне захочется – я непременно приду в ваше общество. Не очень их люблю, но иногда мне весело покажется, и прихожу.

– Порассуждай, порассуждай о «вечных вопросах», – мрачно усмехаясь, сказал Кнорр.

Морсов обещал прислать Юрию как можно больше повесток.

– Нет, что у нас за аудитория!

Раевский тоже поднялся, тяжело, собираясь уходить. Нерешительно кусая розовые губки, поднялся и Стасик, стоял поодаль.

– Саша, – тихо сказал Юрий, наклоняясь к Левковичу. – Что с тобой? Какое у тебя лицо. Молчишь все время...

Левкович весь опустился.

– Так, неприятности... Заботы.

– Какие?

– Хотел сказать тебе. Да не стоит, брат. И неудобно здесь, сам видишь. После.

– Зайди ко мне, Саша. Или я приду...

Левкович вдруг вспыхнул.

– Нет, нет. Я сам приду, сам.

Юрий неуловимо пожал плечами. Начинается досада!

Лизочка взглянула на него искоса, быстро; Юрий таким же быстрым взглядом ответил ей «да, да», – и отвернулся к другим.

У Лизочки времени было мало, но она еще осталась на минутку и рассеянно слушала вежливые нежности Морсова.

Юрий ушел с Кнорром.

## Глава седьмая

### Солома на башмаке

Когда они миновали мало освещенную выходную аллею, Юрий заметил, у самой будки, скверно одетого господина, рыжеватою, с веснушчатым лицом и синими подглазниками.

Он только что входил в сад и прошел мимо очень быстро, но Юрий успел заметить, что они с Кнорром переглянулись.

– Этот еще тут что делает! – морщась, сказал Юрий, когда они через кучу карет, извозчиков и автомобилей выбрались на проспект.

– Кто? – нерешительно произнес Кнорр. Хмель с него давно соскочил.

– Ну, кто... За тобой, что ли, следит? Верно ли поручения исполняешь?

– А ты... узнал?

– Эту-то прелесть вашу не узнать? Всегда он мне был неприятен.

– Отчего ты Яшу так... – начал Кнорр.

Юрий вдруг остановился.

– Послушай, Кнорр, у меня нет времени. Я должен ехать далеко, переодеться и успеть еще попасть в одно место. Говори скорее, что тебе нужно. Ты, как я вижу, не от себя...

– Я от Михаила.

– Ну отлично. А всего бы лучше, оставили бы вы меня в полном покое! Я совершенно не интересуюсь ни вашими делами, ни вашими настроениями. Был бы рад и не знать ничего. Ведь я вам не мешаю.

Кнорр нервно поправил фуражку.

– Конечно, если ты этого хочешь... Никто не будет насильно... Я так и скажу Михаилу. Извини.

– Да говори уж! – досадливо крикнул Юрий. – Я очень жалею Михаила и Наташу, и если я могу что-нибудь сделать для них мне не неприятное, я сделаю. Не понимаю твоей роли. Ты ведь всегда был сбоку припеку... Говори скорее... А то я уеду.

– Михаил у тебя тогда был. Сказал, что надобность пока миновала.

– Ну? Михаил у меня раза три уже был.

– Так вот... А теперь явилась надобность. Дело в Хесе.

– А! – холодно проговорил Юрий. – Тем хуже.

– Выслушай, прошу тебя! Ради меня. Я не вижу исхода, если ты... Яша говорит, что...

– Для Яши я ничего не сделаю. Да раз дело касается Хеси, то я и для Михаила тут ничего не стану делать.

Кнорр весь потемнел, хотя и без того был зелено-серый во мгле дневной ночи.

– Не Яша, не Яша, – залепетал он. – И не ради дела, я знаю, ты от него ушел. Ради меня, просто... Ты знаешь, и я ведь к делам их не так уж близок. Просто... Но, конечно, если ты и слушать не хочешь... Пусть сам Михаил.

– Пусть.

Они прошли молча несколько шагов. Юрию стало жаль Кнорра: жаль той досадной, скучной жалостью, которую он чувствовал к несчастным и глупым. Кнорр мешал ему, влекся за ним, как солома, приставшая к башмаку. Хотелось сбросить его во что бы то ни стало – и сейчас.

– Кнорр, – сказал Юруля кротко. – Ты объясни, в чем именно дело. Воспоминание о Хесе мне неприятно, потому что она тогда влюбилась в меня, а мне совсем не нравилась, и это создавало прескучные истории. Но я ничего не имею против нее. Ты, я знаю, любишь ее или воображаешь, что любишь. Мне это все равно, но тебя я жалею. Скажи, в чем дело.

Кнорр забормотал:

– В подробностях пусть уж Михаил... А я только два слова. Они ее сюда вызывают. Или не вызывают, но только она должна сюда приехать на некоторое время. И ей очень, очень рискованно, именно ей. Надо ее хорошо устроить. Места же теперь нет такого. С внешней стороны она обеспечена, а места вот нет...

– Что ж так обеднели? – презрительно спросил Юрий. И добавил: – Не понимаю, при чем я тут...

– Ты в стороне... Графиня...

Юрий рассмеялся.

– Что же, я ее графине в виде любовницы своей представлю? Или в своей комнате на Васильевском поселю?

– У тебя знакомые...

– Брось, Кнорр, это все ребячество. Да, наконец, зачем я стану?.. – Спыхватился и опять кротко прибавил: – Ну, я подумаю... Спрошу еще Михаила... А теперь прощай. Вот последний порядочный извозчик, там уж не будет. И без того опоздал.

Не предлагая Кнорру подвезти его (еще согласится!), Юруля быстро вскочил в пролетку и поехал на Остров.

Только его Кнорр и видел.

А по дороге на Остров Юруле пришла вдруг в голову забавная мысль... Правда, почему нет? Они будут довольны, для Хеси это будет невинно-поучительно, а Юруле, – и это главное, – будет весело. Отлично, так и решим.

А пока – ну их всех к черту, и Кнорра, и Хесю, и всех. Юруля спешит к себе. Надо снять мундир. Неловко.

## Глава восьмая БАЙ-БАЙ

Проходят, проходят ночные часы.

Тихий стук, шелк французского замка. Тихий, тише нельзя.

Кругло вспыхнул свет в передней, мелькнул котелок на подзеркальнике, рядом с белыми перьями широкой шляпки кругло вспыхнул свет, на полмгновенья – и сгас. Отворилась, затворилась внутренняя дверь. Совсем шепотом. Точно ничего не было. Так, просто тишина вздохнула.

Но кто-то чуткий слышал.

Прошуршали по коридору быстрые мелкие шаги, – босые ножки, точно мышиные лапки. Опять отворилась та внутренняя дверь.

Лизочка просунула в нее свою кукольно-белокурую голову.

– Юрик, ты? – позвала чуть слышно.

На дворе теперь обнаженно светло и страшно, потому что по-ночному мертво. Но в комнате шторы сдвинуты, горит граненое яйцо на потолке. Юруля – в кресле, усталый; как был – в черном пальто, мягкую шляпу только сбросил.

В комнате хорошо пахнет, ковер, низкий диван, за бледной ширмой свежая постель.

Притворила дверь, босая, вошла, в открытой сорочке, с продернутой в кружева лиловой лентой у плеч.

– Я проститься... Дрыхнет Воронка. Терпеть этого не могу, когда он на всю ночь располагается. Ну что?

– Все продул, Лизок.

И Юруля устало и весело улыбнулся, сладко зевнул. Она тоже улыбнулась.

– Экий какой! А весело хоть было?

– Весело. Я тебе завтра расскажу. Все четыреста просадил. А сначала – вот везло!

– Четыреста? Не больше?

– Откуда ж больше?

– То-то. Мне Юлька третьеводни хвасталась... Да врет? Смотри, ты не ври. У Юльки ничего не брал?

И она вдруг ревниво сдвинула брови, смешно черные под кукольными волосами.

Юрий устало протянул руки и посадил ее к себе на колени.

– Вот глупая! Если тебе веселее, чтоб я твои деньги проигрывал, так зачем мне лгать? Да мне сегодня больше и не надо было.

Лизок обнимает его голыми, похолодевшими руками и счастливо смеется. Шершавое сукно пальто царапает ей тело, цепляет кружева.

– Ужасно я в тебя влюблена. Ты такой... такой... – Не нашла слова, подумала. – Не знаю, какой. А только все бы сейчас тебе отдать и чтоб ты был доволен. Юлька вон так и ест тебя глазами. Тоже! И врет, врет... Коммерсант, говорит, у меня... А сама прошлогодние перья на шляпку нацепила. У ней за душой и с коммерсантом всего ничего.

– Вот постой, я ей получше кого-нибудь найду, – шутливо сказал Юрий.

Лизочка вся вспыхнула, дернулась, чуть не заплакала. Юрию не захотелось ее дразнить.

– Ну, хорошо, хорошо, – протянул он сонно. – И Юлька славная. Ты мне больше нравишься, вот и все. Знаешь меня, понравилась бы Юлька больше... Будь довольна тем, что есть. А теперь уходи, я спать хочу. Вот увидит еще Воронка, что тебя нет...

– Не проснется, храпит, как медведь. А веселый какой приехал, шут его дери, и даром, что прямо из комиссии, ухитрился, заранее прислал цветов, дорогие, белые, роскошнейшие! В горшке. Вот завтра, коли хочешь, тащи своей хамке!

Лизочка знала немножко про шалости Юрия с переодеванием. Не сердилась, – да и разве бы помогло? – а умирала-хохотала.

– Цветы? Так куда это я их с горшком потащу?

– Оборви, да и неси! Вот еще!

– Ну, завтра лень... – Он зевнул и прибавил опять: – Иди же, Лилька, право! Ну, гоп!

Она поцеловала коричневую волнистую прядь у него на лбу и соскочила.

– В тебя все влюблены, а вот ты со мной. И комната твоя у меня. А я больше всех влюблена. Ну прощай, спи и то. Небось уж час пятый, коли не больше.

У дверей она еще обернулась.

– Спи поздно. Мой-то часов в десять уедет. А мы завтракать станем.

– Ладно.

Она, вспомнив, засмеялась.

– Какой этот твой потешный, говорун-то... Сегодня в Эльдорадке... Так и плывет из него, так и плывет... Ведь это он и есть, к кому ты Верку нашу тогда возил? Расспрошу ее завтра...

– Да иди ты, наконец!

– Ну уж и Кноррище этот... Вот ненавистный! Чисто чугунный! Иду, иду, спи!

Тихо, опять по-мышинному, убежала. Юруля с наслаждением зевнул еще несколько раз, вскочил, сбросил с себя все, повернул кнопку – и огонь электричества провалился.

## Глава девятая

### Симпозион

Утром дождик. В Лизочкиной столовой «под дуб», с одним широким надворным окном – темновато. Завтрак смешной: дорогие сыры, закуски и фрукты из Милютиных лавок, прекрасное вино, а из горячего только и есть, что яйца всмятку.

Но Юрию и Лизочке это нравится, им весело, они смеются.

Подает на стол высокая, черноватая горничная, совсем молодая еще, но худая, точно болезненная. У нее короткий нос и лицо совсем не неприятное, волосы острижены и выются.

– Верка! – кричит ей Лизочка. – Ей-Богу, вот смешной-то! Так и катит, так и катит! А видать, что ни скажи, – сейчас поверит! Дурынды они все, должно быть. И выдумает же этот Рулька, право! В курсистку играть!

Верка смеется, показывая тесные, белые зубы.

– Да как же ты? – пристает Лизочка. – Расскажи по порядку.

– Уж забыла, должно быть. У меня после больницы, от тифа этого, память такая стала...

– Ну, не ври! Чего тут, садись с нами. Я тебе икема налью. А ты расскажи. Мне интересно, потому что я вчера в Эльдорадке этого Морсова все слушала. Садись, садись.

Верка – давняя Лизочкина подруга. Года полтора тому назад, когда Юрий знал ее, она хорошо была пристроена, с богатеньким офицером, и даже Лизочке покровительствовала. Лизочку – тогда еще глупенькую, еще черноволосую девочку, Юрий однажды у нее видел мельком. С тех пор дела повернулись. Верке сильно не повезло. Запуталась в какую-то глупую историю, потом заболела воспалением легких, а выздоравливая, – схватила в больнице тиф. К весне едва выписалась. Ни кола, ни двора. На улицу идти у Верки свой гонор, да и соображение есть.

Лизочка – добрая душа, а тут и Юрий посоветовал: «Да возьми ты ее к себе в горничные. Сама все ноешь, что с „хамками“ не можешь сладить. Кухарку брось, дома ведь никогда не обедаешь, лакей у тебя при карете, а с Веркой отлично будет. И мне уж надоели эти соглядайки. Не повернись».

Так и устроились. Верка была довольна. Она после болезни слабая. А в белом переднике дверь дяде Воронке отворить, да с граммофона пыль смахнуть – отдых, а не работа. Они обе – Лизочка-госпожа и Верка-горничная очень естественно приняли данное положение. Так оно есть – чего же еще? Верка называла Лизочку «барыней», а Лизочка, при других, говорила даже ей «вы», как следует.

Порой они ругались, Верка «отвечала», но не более, чем настоящая горничная.

Старые «дела» Юрия с Веркой решительно никого не смущали. Они были забыты. Впрочем, Верка и прежде никогда Юрию не нравилась особенно. У нее осталась к нему послушливая преданность.

По приглашению развеселившейся Лизочки Верка, не жеманясь, села за стол и вино выпила.

– А ты его в гости не звала? – спросила она Лизочку про Морсова, переходя на дружеское «ты». – Вот интересно, еще узнал бы меня.

Лизочка захохотала.

– Никогда бы не узнал! Порожела ты с той поры здорово!

– Вот еще! Я поправлюсь, – сказала Верка, нимало не обижаясь.

– Ну ладно, ты мне расскажи обстоятельно! От него ничего толком не добьешься, – кивнула Лизочка на Юрулю. – Вот, сидит и смеется. Ну говорит, двоюродная сестра, ну курсистка, а ты что?

– Да я что? Мне тоже интересно. Он всегда, бывало, выдумывает... Научил меня, а память у меня была хорошая...

– Ну, ну? – нетерпеливо допрашивала Лизочка. – Чему ж он тебя научил? И как же там было?

Юруля, улыбаясь лениво, поощрил:

– Да расскажи ей, Верка. Я уж и сам забыл. Теперь уж этого и нет ничего.

– Нету? – спросила Лизочка с сожалением. – Что ж они? Рассорились все?

– Ну, много ты понимаешь. Я говорю про те вечера, на который я Верку повез. Да тебе не втолкуешь. Пусть Верка расскажет.

– А и смешно было, Лиза, – начала та с одушевлением. – Говорит он мне вдруг: хочешь, говорит, я тебя в самое что ни на есть утонченное общество свезу? Настоящие, говорит, аристократы, и ты между ними будешь. Я гляжу на него, а он смеется: аристократы. Как? духа, что ли? Это, мол, еще выше, да и забавнее. Наилучшие художники и писатели, говорит, строго между собой собираются и утонченно по-своему веселятся, и лишнего никто не допускает. А я тебя привезу.

– Ишь ты! – сказала завистливо Лизочка. – Я бы боялась. Выгнали бы еще скандально, если строго и на дому.

– Ну, я не боялась. Во-первых, что какие это там такие аристократы, точно мы их не видим, а затем он меня научил ловко. Оделась я в простую юбку и блузку белую, ну, пояс кожаный, однако все новенькое. Волосы наушниками, и будто я его двоюродная сестра, курсистка из Москвы. И будто я тоже, не хуже их, стихи могу писать, и стихи дал на бумажке, велел наизусть на случай выучить. А у меня память была о-отличная...

– Неужели помнишь? – воскликнула Лизочка. – А ну-ка, скажи! Скажи, душка!

– Теперь, после больницы, уж не знаю... Вспомню, так скажу. Ты слушай по порядку.

– Ну?

– Ну вот, и будут тебя, говорит, звать София, что значит премудрость.

– Сонька, попросту.

– Не Сонька, а София. И должны там все, самые солидные, и господа, и дамы, надевать костюмы, а меня, когда мне костюм станут предлагать, научил, что ответить.

– Что же?

– А вот погоди. И должны там все лежать...

– Это что же? – разочарованно фыркнула Лизочка. – Сразу же и ложатся?

Юрий усмехнулся.

– Глупенькая! Это они за столом должны возлежать... Это давным-давно такая мода была...

– Ну да, возлежать, – поправилась Верка. – На столе кушанья, вино, а они вокруг, только вместо стульев обязательно кушетки, на них и возлагаются.

– И ты возложилась?

– Погоди. Он научил меня: больше все молчать и глядеть строго и скромно. И если, говорит, пакости какие увидишь, – мало ли что покажется! – не обращай внимания, не хохочи, гляди строго, с благоволением, и не думай чего-нибудь: это они по примеру самых благородных древних фамилий.

Лизочка не выдержала.

– Нет, ну и дура же ты, Господи! Уж я бы не попалась. Это просто он тебя надувательски надул, вот и хохочет теперь! Просто повез тебя в самое последнее место. Хороша!

Верка смутилась было. Но Юрий, продолжая смеяться, сказал:

– Не бойся, Верка, не слушай! Я тебя ни капельки не обманывал! Настоящее было место, и аристократия настоящая.

Лизочка не унималась.

– Нет, Морс-то, Морс-то! Посмотреть – манеры самые деликатные.

– А ты на него напрасно, он ничего, ни-ни, вежливый, и все так гладко. И костюм на нем такой длинный был, пестрый, ногами даже путался. Другие многие, действительно...

– Похабничали?

– Ну... Мне что? Я гляжу да молчу. И все, милая моя, говорят, говорят... Вино в чашках. Чашку не выпьет, в руках держит, говорит-говорит, насилу опрокинет.

– И все стихами?

– Всяко. Я не слушаю, свои в уме держу, кабы не забыть. На головах венки из цветов, живые, ну и повяли, потому на проволоках.

– И ты с венком?

– Нет. Я не приняла. Ты слушай. Когда это уж достаточно поговорили и поугощались, Юрка вдруг встает и объявил: София, говорит, желает теперь высказать свою причину, почему она отказалась надеть костюм и остается среди всех в своем обыкновенном платье.

– Так и объявил? Ух ты батюшки! А ты что ж?

– А я уж знала. Взяла свою чашку, подняла вот так... – Верка подняла стакан с икемом, – ну и сказала...

– Да что ж ты сказала?

– Вот забыла, как сказала, – вздохнула Верка. – Вот уж и не сказать теперь так ни за что, хоть убей. С голосом учила. Я между вами, говорю, одна без костюма потому... потому...

– Эх, да ну тебя!

– Потому, мол, что костюм – это... полумера, что ли?..

Она беспомощно взглянула на Юрулю. Но тот коварно молчал, улыбаясь.

– Одним словом, постой, – продолжала Верка. – Одним словом, что они все трусы, что желают все... да, освобождения от условий и, кроме того, красоты, а что для этого, – я будто чувствую и знаю, – надо собираться совершенно обнаженно, потому что в теле красота, а не в костюме. И в красоте чистота, и я, мол, одна это понимаю, потому что я вот, чистая девушка, сейчас бы готова на это, но вижу, что они еще не готовы, и сижу в своем платье скромно, а в костюм, однако, наряжаться не согласна, это, мол, только себя обманывать. Не истинная красота.

Верка проговорила все это одним духом, глядя на Юрулю. Тот покачал головой.

– Забыла ты, забыла, – сказал он. – Много чепухи наплела. Тогда лучше у тебя вышло.

Лизочка только руками всплеснула.

– Батюшки, срам-то какой! И неужели ж они тебя за такие вещи об выходе не попросили?

– Ничегошеньки. Я думала не то. Думала скажу – да вдруг они все поснимают. А не то закричат: хвастаешь, так раздевайся, а мы не в бане. Мне же, признаться, не хотелось. Однако, милая моя, ничего подобного, а прямо фурор. За мое здоровье чашками так и хляскают, кричат, что я вернее всех сказала, что выше их понимаю, что они, действительно, не готовы. Говорили-говорили, Морсов в хламиде путается, другой там был, черненький, в коротенькой юбчонке, на кушетке лежит, кричит: мы старые люди, но мы идем к новому! Скандалили довольно.

– Весело, значит, было?

– Нет, милая моя, скучища. У меня уж глаза повывлезали. Да и они – поговорит один, выпьет, другой об том же начнет. Вот и веселье. Ну, наугощались, конечно. А так чтоб особенного – ничего.

– Мне было забавно, – сказал Юрий. – Я все на Верку смотрел. Вот важничала, курсистка.

– Наконец, того – сон меня стал на этой кушетке клонить. А Морс пристаёт: София, скажи стихи свои!

– На «ты» уж к тебе?

– Все на «ты», по условию. Дамы там, солидные видно, им тоже все «ты». Ну, я сначала, конечно, ломаюсь. После говорю, хорошо, только что припомню из старого. Не будьте строги. Все он меня научил, да уж потом я и сама разошлась, вижу, как с ними надо.

– Неужели помнишь стихи? – спросил Юрий. – Помнишь, так скажи Лизочке.

Стихи тогда Юрий сам старательно – не сочинил, он не умел сочинять, а составил для Верки. Составил с расчетом и со знанием, как дела, так и вкусов тогдашних.

Теперь Юрий, конечно, не помнил ни одного слова. Так давно все это было, так устарело. Но ему забавны казались воспоминания Верки: ведь для нее это приключение осталось свежим и важным.

– Ах, не припомню я, – сказала Верка. – После больницы уж не та у меня память. Погоди-ка.

Она встала в позу, опустив руки, наклонив голову, и начала нараспев, густо. Голос у нее был довольно приятный.

Я вся таинственна,  
Всегда единственна,  
Я вся печаль.  
И мчусь я в даль,  
Как бы изринута  
Из чрева дремного...  
Не семя ль темное  
На ветер кинута?  
В купели огненной  
Недокрещенная,  
Своим безгибельем  
Навек плененная...  
Душа скитальная...

Верка запнулась. И повторила беспомощно:

Душа скитальная...

– Ну? Что ж ты? – поощрил Юруля. – Вали дальше. Длиннее было.

Он тогда очень старался, чтобы стихи составить средние, чтобы не пересолить в пародию. И действительно, пародии не было.

Верка припоминала:

Душа скитальная...

– Так вот хоть ты что! Больше, ей-Богу, ни-ни, ничего не помню!

Лизочка была разочарована.

– Ну-у! – протянула она. – Я думала, интереснее что-нибудь. И так заунывно и говорила?

– Так надо.

– Что ж они? Понравилось?

– Должно быть, понравилось. Руки мне жали и объясняли, что это значит.

– Что же?

– Ну, я уж не слыхала. Устала, беда! Целый вечер на этой кушетке, да гляди строго, да молчи, – оно дойдет!

– Ишь ты, бедненькая! – пожалела Лизочка. – Я бы не выдержала. И, главное, ради чего, коли веселья никакого не было.

– Нет, в начале смешно. После только наскучило. Ну, побаловались они еще, затем платья свои понадевали – и по домам. А уж потом я не знаю, было ли у них еще, нет ли.

– Может, они потом без костюмов, Юрка, а? – спросила Лизочка.

Юрию надоело. Он зевнул.

– Не знаю. Я больше не был. А потом за границу уехал. Да нет, теперь уж ничего этого нет. Мода прошла. Теперь не дурачатся, теперь серьезно, лекции читают.

– Ну, лекции...

– Ничего, ты пойдешь как-нибудь, послушай, я тебе билет дам.

– И мне дай, – попросила Верка. – Не выгонят?

– Нет, нет, в общей зале. Садитесь смирно и сидите.

– Скука?

– Еще бы. А надоест – уйдете. Вот, признаться, вы мне теперь обе ужасно надоели. У меня к тебе дело было, Лизок, да скучно, и некогда теперь. Как-нибудь после. Отдохну и поеду. Обедаю я в одном месте нынче.

Он встал и открыл окно. В столовой было накурено. Верка, превратившись в горничную, принялась убирать со стола.

В эту минуту в передней зазвонили.

Лизочка прислушалась и вдруг вскочила, подхватив ленты своего капота.

– Вера, Вера, – зашептала она. – Живо! Все со стола вон! Это Воронка, я его руку знаю! Ключа-то не даю, дудки! Не иначе как опять забыл что-нибудь утром, растеряха! В спальне не убрано? Ладно, я прямо в постель, скажи, барыня еще не вставала... Юрунчик, прощай.

Она подскочила к Юрию, на лету чмокнула его и исчезла.

В один миг стол опустел, как будто ничего на нем никогда и не стояло. Юрий неслышно скрылся. И Верка уже отворяла дверь, скромная и ловкая в своем белом переднике, извинялась перед баринном, что не сразу услышала звонок, докладывала, что барыня опять започивали и не велели себя будить.

Дядя Воронка доверчиво пошел сам в спальню. Он только на минутку. Он, действительно, забыл утром у Лизочки какой-то, никому, кроме него, не нужный портфель.

## Глава десятая На фонтанке

Необыкновенно унылая квартира – квартира графини. Весь дом унылый, старый, – ее собственный. Такие бывают казенные дома, казенные квартиры. Окна темные, высокие, с мелкими и будто всегда грязными стеклами.

Комнат непомерно много, половина из них – бесполезны. Какие-то буфетные, какие-то угловые. У графини своя гостиная, своя столовая, где с нею обедает Литта и две чрезвычайно приличные приживалки. Николаю Юрьевичу подают особо, да, кажется, и готовят особо. Юрий, когда жил на Фонтанке, обедал тоже с сестрой и графиней.

К отцу Юрий чувствовал дружеское сожаление. Он болен и в зависимости от графини. Считал, однако, что отец малодушен и слишком рано озлобился. Мог бы, если б не капризничал, поддерживать некоторые связи, и вообще жить гораздо приятнее.

Он ласково и шутливо выговаривал ему подчас. Николай Юрьевич махал рукой, но потом оживлялся и даже начинал доказывать себе и Юрию, что вовсе он не так опустился и вовсе не так уж его забыли. Вряд ли он любил сына, однако ценил посещения: они развлекали и утешали его. Веселый, красивый, уверенный и здоровый Юрий ему нравился.

На дочь Литту он не обращал никакого внимания. Графинина внучка.

В этот день Юрий пришел часа в два, посидел у отца, а после пил чай с сестрой. Графине нездоровилось, она не выходила.

– Отчего ты теперь не живешь с нами? – спрашивает Литта тихо.

В доме все тихо говорят.

Юруля смотрит на сестру, на ее еще по-детски распущенные волосы, бледные, связанные черным бантом, и улыбается.

От его улыбки в комнате делается уютнее.

– Почему не живешь с самой заграницы? – опять спрашивает Литта.

– Разве я не живу? Я часто ночую. Там, на Острове, мне ближе к университету, ты знаешь.

И заниматься удобнее.

Но Литта качает головой.

– Разве здесь мешают? Твоя комната самая хорошая. Большая. И прямо из передней. Ничего не слышно. Да ведь у нас нигде ничего не слышно.

Юруля опять улыбается.

– Скучно у вас очень.

– Юруля, а я тебя боюсь.

– Неправда. Меня никто не боится. Это глупости.

Литта краснеет и делает сердитое лицо.

– Да, не боюсь. Это не то. Но как-то я тебя не понимаю. Не знаю.

– И я тебя не знаю, сестренка. А зачем знать друг друга?

Литта удивилась, но ничего не сказала. Помолчала, подумала.

– И от отца, и от графини – такая скука идет, – сказал Юруля искренно. – Я тут бы не мог все время жить. А иногда люблю.

– Юра, мне хочется в гости к тебе. Да ведь бабушка не пустит.

– Ничего, потом пустит. Ты с кем выходишь?

– С ней выезжаю, в Летний сад. Или, иногда, с Марьей Владимировной.

Марья Владимировна – одна из важных графининых приживалок.

– Прежде было лучше, когда miss Edd жила, – продолжала Литта. – Но выдумала бабушка вдруг, – не надо гувернанток, порча – гувернантки, и вот я теперь одна-одинехонька. Только учителя и учительницы целый день, приходящие. Надоело уж.

Юруля глядел на нее и думал что-то свое.

– Ну, не ной, – сказал он. – Ты пока слушайся старухи. Понемножку будешь свободнее, со мной станет пускать. О гувернантках не жалеи. Графиня это не глупо выдумала – вон их. Характер только портят. – И вдруг добавил, по какому-то внутреннему сцеплению мыслей: – Что, Саша Левкович у вас бывает с женой?

– Отчего ты спросил? Да, был раз, еще когда ты не приехал, когда только что женился. Ах, Юра! Она прехорошенькая, но ужасно странная. А ты, оказывается, давно с ней знаком?

– Давно, прежде... Когда еще отец ее был жив. Еще и Саша ее не знал.

– Ну, когда это давно? Ей и теперь с виду четырнадцать лет. Бабушке она не понравилась.

– А тебе?

– А мне... Видишь ли, сначала я ужасно обрадовалась. Думаю, вот Саша женился, grand-maman к нему благоволит, станут бывать у нас, я с ней подружусь... Она ведь такая молоденькая. Ну, а потом...

– Что же потом? Grand-maman не одобрила?

– Да нет... Не то. А она сама какая-то... Я, впрочем, раз только ее и видела. У нее такие манеры...

– Манеры! – засмеялся Юрий. – Ну, милая, ты сама по-бабушкиному заговорила.

Литта вдруг ужасно рассердилась.

– Как тебе не стыдно! Я вижу, ты ничего не понимаешь. Прежде, когда мы маленькие были, ты понимал, и я тебе все говорила, а теперь ты, как все. Вот и правда, что я тебя боюсь, то есть не боюсь, а не знаю, мы как чужие. Точно я об манерах забочусь! Я не про то. Но и пусть мы чужие, если так. Я сама тебе теперь давно не все говорю про себя, и не нужно.

Юрий нежно притянул ее за рукав.

– Ну прости, детка. Про манеры я тебе нарочно, это правда. И мы совсем не чужие. Хотя и думаю, что «все про себя говорить» никому не следует, и ты хорошо делаешь, что не говоришь. А на меня не сердись. Лучше расскажи про Муру, что она тут делала. Я уж пойму, почему она тебе не понравилась.

– Да не то что не понравилась... – начала Литта, усаживаясь ближе к Юрию и успокаиваясь. – А просто... дикая она какая-то. Вот приехали они, grand-maman к ней сначала ничего. И она ничего, только все вертится. Коса за спиной. Об отце ее grand-maman спрашивает – помню, говорит, генерала, – а Мура так странно: «Да, жалко старика!» Потом вдруг ко мне: «Пойдемте, покажите мне вашу комнату, познакомимся!» Пошли.

– Ну, что ж тут такого?

– Да, ничего, я даже рада была, но grand-maman уже насупилась. Я повела ее в классную, потом и в спальню. Она шляпку сбросила, совсем гимназисткой стала, хохочет, по стульям прыгает. И о тебе тут стала говорить. Что ты у них бывал и что она тебя Юрулей звала. Поцелуйте, говорит, его от меня крепко, когда он приедет, скажите, чтоб он в гости ко мне приходил, что я теперь замужем. Да ты у них уж был?

– Да... Раз был.

– Ну, так она тебе рассказывала?

– Что? Ничего не рассказывала. Говорила, что ты хорошенькая девочка, только...

– Только что?

– Ничего. Ведь она глупая, Мура. Вот и весь секрет.

– Конечно, глупая. Ты послушай дальше. Она опять о тебе. Он, говорит, ужасно красивый и притом негодный, но оттого-то мне и нравится. Я не выдержала и говорю холодно: пожалуйте, не отзываетесь так о моем брате. Я к этому не привыкла.

Юруля крепко поцеловал ее.

– Ах ты, защитница моя глупенькая. Ну?

– Она никакого внимания, хохочет, как бешеная, и вдруг, нет, ты вообрази! начала меня шипать, честное слово, и пребольно! Согласись, что это... что это...

У Литты при одном воспоминании разгорелось ухо под пышными волосами.

– Да... – протянул Юруля. – Какая дура! Это противно.

– Еще бы! Когда они уехали, grand-tata говорит: «Я очень люблю этого бедного Сашу, а что касается ее...» – и ко мне: «Вы, говорит, должны понять».

– А ты?

– Рада была. *Vous avez parfaitement raison, grand-mère, d'ailleurs elle ne me plait nullement*<sup>5</sup>.

Она засмеялась, вскочила со стула и сделала реверанс.

– Вот ты к ней и ходи, а я не хочу! По-моему, и Саша стал хуже, с тех пор как женился.

Растерянный какой-то.

Юрий не улыбался, думал. Должно быть, о Левковиче. С того вечера в Эльдorado, где Левкович сидел, как в воду опущенный, он у Юрия еще не был.

– Юруня, ты уходишь? – И девочка тревожно на него посмотрела.

– Я приду к обеду. И вечером останусь.

– Ах, Юра! А можно мне к тебе в комнату прийти вечером?

– Не знаю.

Литта огорчилась и молчала, не смея ничего больше спросить.

– Сестренка, ну чего ты? Ведь я тебя никогда не гоню. А сегодня ко мне сюда кое-кто придет.

Она взглянула осторожно исподлобья.

– Может быть, Михаил придет?

– Да, и Михаил тоже...

Литта вся просияла.

– О, Юра! Ну я не говорю про сегодня, пусть я сегодня не приду, если и другие еще у тебя, но когда Михаил – я так рада! Знаешь, я его мало видела, но я его еще тогда помню, еще до твоей поездки, еще я маленькая была, он к тебе приходил. И теперь сразу узнала, хоть он изменился. Ужасно мне нравится. Все молчит, но у него такие глаза... такие, точно он про себя молится.

Юруля усмехнулся.

– Ты не смейся. Он все молчит... И я чувствую тут тайну.

– А чувствуешь, так и не болтай. Глупо вредить людям. Я вот сейчас жалею, что ты ходила ко мне и видела Михаила. Это, пожалуй, лишнее.

Литта покраснела до слез.

– Да разве я... Как это жестоко, Юра. Вот как ты меня не понимаешь. Я и не хочу ничего знать. А с кем я разговариваю, болтаю, подумай? Ведь у меня никого нет. Как ты мог, Юра!

Он уже опять улыбался.

– Знаешь? Ты права. Я глупость сказал. Зато у меня презабавная мысль, и я тебя сейчас утешу. Тебя Михаил занимает. По-моему, он в жесточайших ошибках, которые заразительны, – но что до того? Ты сама по себе, сама должна разбираться... Всякому свобода полезна. Твоя учительница математики уехала. Хочешь, я посоветую бабушке будто бы своего товарища прежнего? «*Madame... Если я смею рекомендовать... quelqu' un qui est très sûr*»<sup>6</sup> ...и так далее. А это будет Михаил. Хоть ненадолго, – тебе удовольствие, ему заработок. Он математик здоровый... Чего ты пугаешься?

---

<sup>5</sup> Вы совершенно правы, бабушка, впрочем, она и мне совсем не нравится (*фр.*).

<sup>6</sup> Некого, кто совершенно надежен (*фр.*).

– Юра... Да как же? А если тут тайна? Как же он будет приходиться?

– Глупая ты девочка. В этой-то могиле нашей – кому до кого дело? Папа с кресла не встает, а если графиня разок на него сквозь лорнет посмотрит – поверь, ничего не увидит. Небось хочется?

Конечно, Литте очень хочется. Она, веселая и умная девочка, в одиночестве перечитала всю Юрулину библиотеку. Знает и понимает больше, чем говорит. Она часто, полуневольно, наивничает, – даже с братом. Ей свободнее казаться ребенком. А сама с собою – она, хотя еще ребенок, – уже человек. И бессознательно женского в ней уже много.

Рассказывая про Муру Левкович, она искренно и совсем по-детски возмущалась. Воспоминание о Михаиле вдруг сделало ее серьезной, взрослой.

– Хорошо, Юра. Попытайся это устроить. Я тебе буду очень благодарна. И скажи Михаилу, что ему нечего опасаться моей болтливости.

– Ого, вот мы какие серьезные барышни! Ты, впрочем, не рассчитывай на него очень. Он с тобой, может, и слова не скажет ни о чем, кроме математики. Веселья не жди.

– Ничего я не жду. И с разговорами к нему приставать не буду. Не беспокойся.

Юруля обнял ее и поцеловал в голову.

– Знаешь, Улитка, если б ты была братишкой у меня, а не сестренкой, мне бы с тобой весело было! А то сейчас графиня, сейчас нельзя, и все-таки ты кое-что не поймешь никогда! Ну, ничего, будь умница. За обедом увидимся. А вечером я, может, успею Михаилу сказать словечко...

Он повернулся, чтоб идти.

– Да! Вы нынче опять на Царскую дачу поедете? Забыл спросить...

– Ну, конечно. И не скоро. Папа бы поехал, да grand-maman ни за что раньше, чем в середине июня. А ты разве не приедешь, Юра?

– Не знаю. Терпеть не могу эту дачу. «Красный домик» совсем забросили.

Литта вздохнула. Она сама не любила скучную Царскую дачу. У графини была другая, в Финляндии, она-то и называлась «Красный домик». Давно, прежде, они жили там. Но уже лет шесть, как она стоит пустая. Большая, старая, но еще крепкая, заколоченная. Там умерла мать Литты, и графиня ненавидит дачу, хоть не продает и внаймы не отдает. Юрию дача нравится. Летом во флигельке живет сторож, и Юрий бывал там года два тому назад. Сыро немножко, дача под горой у речки, но пустынно, кругом лес. Страшно, говорит графиня, дичь... Мать Литты очень любила эту дачу. Стоила она дорого.

Когда Юрий тихо затворил за собой темную дверь, Литта подошла к окну. Думала о чем-то. Облачный день, сухой, небо – как пыль. Едва видно его, небо. Вода в канале – как черная пыль. Кривая панель, решетка, у решетки барки тяжелые, на барках доски, доски, доски... Пахнет, должно быть, там дегтем, деревом и гнилой водой... Должно быть, – а может, и нет, Литта не знает, пыльное окно еще не выставили. Вон и ломовой трясется, верно, грохочет – а чуть слышать. Скука, скука...

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.